

Бабушкин портрет

Кажется, мы с бабушкой друг друга не очень-то любили.

Полная, грузная, с достоинством передвигающая свое тело, бабушка запомнилась мне этакой надменной гранд-дамой, с природным, неведь откуда взявшимся аристократизмом. Именно такой, похожей на старую Ахматову, и написал ее мой дед-художник.

Из моего растительного существования вообще мало что сохранилось в памяти, но как-то особенно подозрительно скудны мои воспоминания о бабушке, хоть мы и провели вместе изрядный кусок жизни.

Вшестером мы занимали две комнаты коммуналки – одну, побольше, бабушка с дедом, другую мы с сестрой, папой и мамой. В третьей комнате жила девочка с очень странными родителями: они были вроде как в разводе и друг с другом вообще не разговаривали. Отец ее занимался фотографией, и наше без того тесная ванная комната была уставлена его ядовитыми баночками и бутылочками, а венцом безобразия был огромный проявитель по имени Крокус, занимающий остаток ванной и похожий на пыточное орудие. Сосед запирался там с ним по вечерам на долгие часы и проявлял фото прямо в ванне, наполняя ее своими страшными химикалиями. В этой же ванне купали и меня, и некая ядовитость, возможно, пропитала меня с тех времен...

Коммуналка находилась на пятом этаже большого дома на Можайском валу, а соседние дома огораживали вокруг целую анфиладу дворов, казавшихся мне огромными. Гулять я любил – зимой наваливало гигантские сугробы, которые превращались в крепости с тайными лазами: там разыгрывались настоящие снежковые баталии. Таких сугробов я потом никогда и нигде не видел – то ли я вырос, то ли зимы стали другие. Летом наши сражения продолжались на деревянных мечах, и даже щит у меня был с настоящим гербом. Мы придумали его вместе с сестрой, она его и нарисовала с помощью деда. Там все было символично: и лев, и какой-то стервятник, и даже выбор красок, каждая из которых означала что-то особенно хорошее.

Когда я выходил гулять, бабушка усаживалась на балконе и зорко наблюдала за тем, как я резвился. Довольно часто меня мучила во дворе пара подонковатых подростков, излюбленной пыткой которых было заламывание рук с последующим их выкручиванием за спиной. Бабушка с подозрением смотрела вниз на мои корчи, и на всякий случай зычно призывала не обижать крошку, но делала этим еще хуже. Приходилось кричать в ответ, что это мы так играем, и она успокаивалась.

Родоначалница пагубного культа еды в нашей семье, бабушка готовила охотно и вредно. Борщи ее были сладки до приторности. Дед страдал молча, и лишь когда было совсем неведь, хитро подмигивая нам, тайком подливал в тарелку уксус. Уличенный, он смущался и виновато бормотал: «Но До! (это означало «дорогая») – это ведь просто какой-то компот!» Мамины обеды были намного лучше, но и ее обуревало то же наивное желание – доказать свою любовь обильностью еды.

Бабушка ревностно ограждала нас от вредного влияния взрослых. Если кто-то был недостаточно «*comme il faut*» и позволял себе что-то неподобающее с ее точки зрения, она с театральным пафосом восклицала свое неизменное «откуда это?»: мол, когда дети станут все это за вами повторять, не пеняйте им, что плохо воспитаны. Как в воду глядела!

Бабушка всегда занимала очень много места. Отлично помню, как она (то есть наверняка вместе с дедом, но именно это как-то выпало из памяти: дед никакого места не занимал) переселилась к нам, детям: мы уже подросли, и старики согласились отдать свою комнату тогда молодым еще родителям. Мне было лет семь, когда я случайно подглядел, как бабушка достает из-под матраца деньги. Некоторое время я противостоял искушению, но потом улучил момент – и низко пал. Уж очень мне хотелось заполучить солдатиков из роскошного «Дома игрушек», что на Кутузовском напротив. Конечно, меня совершенно оправдывало то, что солдатиками были не простые: и с автоматами, и с пулеметами, а некоторые даже с пушечками! Устоять было никак невозможно. И я стянул две хрустящие десятирублевки.

Нажив нечестным путем такое богатство, я испугался, что тайное может стать явным, но стыда не испытал. У родителей я бы никогда не украл, а вот бабушка – та казалась мне незаслуженно богатой. Но, видно, мне все же хотелось как-то заглядеть свой неприглядный

поступок, ибо я поспешил сообщить своим дворовым друзьям, что нашел кем-то оброненные деньги, и позвать их на совместное пиршество в вертеп детского разврата. Истратив шесть или семь рублей, я осуществил не только свою вожделенную мечту об оловянных солдатиках (увы, реальность оказалась вовсе не возвышенно-оловянной, а пошло-пластмассовой!), но и с несвойственной мне впоследствии щедростью одарил друзей за чужой счет всем, чего они себе пожелали: модным вездеходом с электрическим управлением, инерционной машинкой и еще чем-то. Ловко сделав друзей невольными соучастниками моего преступления, я незаметно переложил на них часть своей вины, чем заметно облегчил собственную совесть.

Я облегчил ее еще заметнее, когда родители мальчиков известили мою мать о странных подарках, и она спокойно, но твердо призвала меня к ответу. С дрожью в голосе повторив версию о найденных купюрах, я вручил ей остаток денег, который меня уже изрядно тяготил. Так радостно было избавиться от греха и одновременно способствовать справедливому перераспределению капитала в нашей семье!..

Ничего странного в этом моем отношении к бабушке не было – я просто улавливал семейный вывих и делал свои ходы в той замысловато-бессмысленной игре, которой взрослые заигрываются не на шутку, а на всю жизнь. Ясное дело, при трех поколениях в одной норе на кон ставят деток и внучат. Увы, двойную партию в «дочки-матери» моя молодая мама продула подчистую: ее дочь стала любимой игрушкой ее матери. Мне же позволено было стать примерным маменькиным и папенькиным сыном. Родители меня баловали: они даже позволили мне подбрасывать мячик в комнате, с помощью которого я перебил все плафоны бабушкиной красивой старинной люстры...

Вывих этот был застарелый. Ну не могла бабушка смириться с тем, что профессорская дочка против ее воли выскочила замуж за безродного сироту, выходца из военно-музыкальной школы. Как же, плебейская кровь беспризорника замутила благородную кровь! А вот самого профессора, это почему-то ничуть не коробило, и он, совершеннейший разночинец в душе, с отцом крепко сдружился...

В общем, нормальная абсурдная обстановка. Подстать ей и семейная легенда о том, как наш отец в первый и последний раз водил машину: получив права, на радостях прокатил маму на дедовом «Москвиче» – и пожал бурю: теща заявила, что только через ее труп доверит ему жизнь дочери и внуков. К убийству тещи отец был морально не готов, и с тех пор «Москвич» с нашей жизнью в придачу вверялся кому попало...

Наша бабушка все время чего-то боялась. Мы были тоже заражены ее страхами. Слова «еврей» дома не употреблялось. Вместо этого взрослые понижали голос и переходили на какой-то совсем уже шпионский язык, говоря «и что, неужели он тоже – *ex nostris*?». Я и сам долго не подозревал, что эти гонимые, чуждые и всеми презираемые «они» – это я и есть. Политические новости обсуждались тоже только шепотом и только в тех комнатах, где не стоял телефон, и упаси боже громко рассказать анекдот или сказать что-нибудь папахивающее неблагонадежностью! Да это и понятно: многие родственники деда отсидели свое при Сталине – вернее, не свое, а чужое. Бабушка навсегда запомнила, как одна наша родственница после ареста мужа и сына ночи напролет ждала с узелком в руке, когда и за ней придут. Деда же судьба миловала: у него нечего было взять, он ни у кого не возбуждал зависти, и никто на него не донес. Он даже ненароком получил Лауреата Сталинской премии за один из своих фильмов. Но его легкомыслие бесило бабушку. Как мог он послать ей 6-го марта 53-го года, на следующий день после известия о смерти Вождя, ту ужасающую телеграмму из Албании? «Поздравляю с праздником!» В ответ дед лукаво ухмылялся: «Так это ж было как раз перед 8-ым марта!»

А время шло. Все чаще заговаривали о каком-то «кооперативе», и вскоре они обрели-таки, наконец, отдельную квартиру. В нашем с сестрой распоряжении оказалась целая комната, и жизнь потекла совсем другая...

Но передышка оказалась недолгой. Старики стали по разным поводам то и дело попадать в больницу, мама зачастила туда и вконец измучилась. Однажды деда с обширным инфарктом отвезли в клинику, где на другом этаже уже лежала бабушка. Он запретил волновать ее попусту, и бабушка, пока не поправилась, так и оставалась в неведении и не знала, что дед совсем рядом, что ему так же плохо...

Из-за всего этого нам снова пришлось съехаться. Курить дед нехотя под давлением бабушки бросил, но на другие запреты реагировал бурно. Особенно накалялась атмосфера летом на даче: дед

поднимался спозаранку, пока все спали, чтобы тайком что-нибудь попилить или построгать – без этого жизнь была ему не в радость, – а бабушка закатывала скандалы и прятала инструменты, ревниво охраняя его больное сердце на свой лад, как умела. Дед сатанел, скрежеща зубами и грозя кулаком небу и бабушке. А потом снова где-то отыскивал пилу и рубанок и, как ни в чем не бывало, принимался за старое, при этом все время приговаривая свое знаменитое «так! – сказал дьяк, – иль те деньги не пятак?», походя обучая меня разным секретам ремесла и прививая страсть к строительству разных табуреток и скамеечек... Сколачивая теперь очередную скамеечку, я совершенно неожиданно для себя восклицаю «так! – сказал дьяк...», но от странного продолжения фразы воздерживаюсь: пятак не деньги – яснее ясного, ну а в перевернутом виде?..

Вскоре дед снова стал ходить с палочкой. Потом в Доме Кино справили его юбилей и решительно проводили на пенсию. Так и не довелось ему осуществить свою мечту – повидать Париж, эту Мекку художников, – город, который он, не разу там не побывав, таким живым и настоящим дважды строил в павильонах студии... Не бросил все, не настоял, не поехал, хотя возможность, уж наверное, была! Кого в том винить? Его чрезмерную заботу о благе семьи? властную бабушку?

...А время продолжало идти, и я все больше погружался в учебу и свои проблемы, приобщаясь в музыкальном училище к студенческой жизни. Что происходило дома, доходило до меня смутно.

Бабушка заметно сдавала. Она лежала у себя в постели – большая, тяжелая, пахнущая лекарствами, – или в ночной рубашке приведением бродила по квартире. Она стала часто заговаривать о смерти и плакать. Потом попыталась отравиться. Потом мы стали прятать ножи...

Все кончилось неожиданно: ее увезли на срочную и, если б не возраст, несложную операцию. Узнав по телефону, что она пришла в себя после наркоза, дед торжественно открыл коробку конфет и со слезами на глазах раздал всем по шоколадке.

А на следующее утро у бабушки начался перитонит...

Ах, бабушка, моя бабушка! Ну почему я не застал тебя такой, как на старинной фотографии – молодой и мечтательной нимфой, томной Лорелеей, расчесывающей свои длинные ниспадающие волосы на живописном фоне картонных скал и реки! Могло ли для меня что-то значить это прекрасная старинная картинка из далекой, чужой и придуманной жизни? Разве можно было всерьез думать, что это и есть моя бабушка? Нет, для меня она всегда была такой, как на поздних, хорошо мне знакомых снимках: конь с Петром Первым на фоне бабушки, Исаакиевский собор на фоне бабушки... Величественной, царственной, и почему-то с постоянным выражением уныния и страдания на лице...

Как мало я помню! А ведь она иногда рассказывала о себе – например, как была сестрой милосердия в Первую мировую. И хранила благодарные письма от выхоженных ею солдат. Куда же это все подевалось? Ей довелось пережить такие страшные времена: революцию, две войны, эвакуацию... А я так совсем ничего о ней и не знаю.

И если пишут потому, что есть о чем вспомнить и что рассказать, то для чего пишу я? Чтобы заполнить пустоту? Что это – возвращение или прощание? А может быть, прощание – «остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим»?..

Со смертью жены дед стал очень одинок. Из друзей остался один кот.

Как-то дед достал тот старый бабушкин портрет и принялся его переделывать. Изо дня в день он мучительно пытался добиться какой-то ему одному ведомой правды. Но глаз и рука больше не слушались. Картина расплывалась, смазывалась. На ней, как на портрете Дориана Грея, все яснее проступало что-то ужасное. Стало больно смотреть: дед рисовал смерть. Он и сам стал угасать, медленно и страшно...

А я... Я в то время закрутил бурный роман с моей будущей – первой – женой.

Делясь подробностями о себе и своих родных, мы как-то сделали поразительное открытие: оказывается, ее отец – художник, один из учеников моего деда!

И, придя в первый раз к ней домой, я увидел на стене большой портрет, написанный ее отцом. На портрете она выглядела как-то странно. Будто художник прозрел в ней черты, которые должны были проявиться много позже...

Приглядевшись, я содрогнулся: с портрета на меня смотрела моя бабушка.